

вор» (*Крузе Д. Король и насилие: из истории французского абсолютизма XVI в. // Французский ежегодник, 2005. М., 2005*).

¹² Имелся в виду граф д'Артуа, будущий король Карл X.

¹³ Duprat A. Les rois de papier. P. 341.

¹⁴ Принятый в сентябре 1789 г. декрет о предоставлении королю права приостанавливающего вето вызвал недовольство радикально настроенных революционеров. Король неоднократно пользовался этим правом, накладывая вето на неудобные ему законы, за что и получил насмешливое прозвище Вето.

¹⁵ Самый ярким примером является памфлет Луизы де Керальо «Преступления королей Франции», где к двум названным выше королевам добавлена еще Изабо Баварская (*Kéralio L. de. Les Crimes des reines de France, depuis le commencement de la monarchie jusqu'à Marie-Antoinette. P., 1791*).

¹⁶ Т.е. с императором Иосифом II.

¹⁷ Procès criminel de Marie-Antoinette de Lorraine, archiduchesse d'Autriche. P., an II. P. 9–21. Цит. по: Duprat A. Marie-Antoinette. P. 227.

Н.Е. Коносов

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ДОВЕРИЯ, ИЛИ ДЕВИАНТНАЯ СОВОКУПНОСТЬ

Уваров П.Ю. Франция XVI века: Опыт реконструкции по нотариальным актам. М., 2004

«Для того, чтобы снизить элемент случайности, неизбежный при среднеарифметических показателях, можно использовать показатель медианы распределения... Определял я ее очень просто: для этого выстраивался ряд числовых значений того или иного интересующего меня показателя... затем находилось числовое значение, расположенное в центре указанного ряда»¹.

Более вездливый критик мог бы, пожалуй, посетовать, что П.Ю. Уваров утаил от нас, как он рассчитывал проценты и совершал иные арифметические действия.

Превратить выведение медианы в автобиографический факт – демарш не вполне стандартный, чтобы не сказать девиантный. Во всяком случае, удивление он вызывает, а удивление, согласно Уварову, как раз и позволяет отличать девиантность от нормы (с. 469). Мимо девиантных случаев историк, по его мнению, проходить не должен. Ведь сквозь призму исключительного можно по-новому увидеть нормальное. В частности, многие индивиды, склонные к девиантному поведению, принадлежат к «ядру» той или иной «совокупности» (с. 473) и, следовательно, в каком-то смысле типичны. Мы

попробуем применить этот «казусный» подход к анализу книги самого П.Ю. Уварова. Ведь он как член-корреспондент РАН и заведующий Сектором истории Средних веков и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН определенно принадлежит к «ядру совокупности» российских историков, по крайней мере, медиевистов. Поэтому его девиантное поведение, возможно, характеризует данную «совокупность» в целом.

В книге немало автобиографических отсылок. Некоторые из них вполне оправданны, но не все. «Странные» отсылки красной нитью проходят по книге, в значительной степени определяя ее стиль: «Обработав сперва данные, содержащиеся в публикации... я обратился затем к оригиналам» (с. 87). «Выделив категории, я распределил по ним дарителей» (с. 105–106). «При анализе... модели я отметил... противоречия» (с. 217). «До того, как я предпринял анализ брачных контрактов, я полагал...» (с. 244). «Составляя таблицы, я обнаружил... И я понял...» (с. 244). «Я был удивлен...» (с. 246). «У меня родилась гипотеза...» (с. 250). «Найти ответ оказалось очень просто...» (с. 253). «Я пытался отыскать следы...» (с. 276). «Я насчитал полтора десятка основных комбинаций...» (с. 282). «Мы обнаружили акт... Продолжив поиски, мы обнаружили другие акты...» (с. 338)².

Отсылки эти вовсе не свидетельствуют о склонности автора к нарциссизму. Скорее наоборот: автобиографический код имеет тенденцию трансформироваться в код самоуничужения или, по крайней мере, самоиронии. Нередко Уваров весьма скептически высказывается по поводу собственной работы: «Попытка эта была весьма трудоемкой и не самой эффективной» (с. 298). «Разумеется, подобные рассуждения весьма банальны и могут показаться неуместными...» (с. 100). «И пусть придется “наступать на грабли”... и пусть наши гипотезы и заключения могут показаться трюизмом» (с. 19). «Конечно, вывод... может показаться, мягко говоря, излишне тривиальным» (с. 135). «Результаты трудно назвать обескураживающими» (с. 215).

Оснований для самоуничужения у Уварова, на мой взгляд, нет. Тем оно страннее и навязчивее. Впрочем, код самоуничужения, в свою очередь, трансформируется в код самооправдания. Практически каждая из приведенных в предыдущем абзаце цитат имеет соответствующее продолжение: «Пусть наши гипотезы и заключения могут показаться трюизмом, важно, что проблемы эти... не выведены умозрительно, а вполне реальны и порождены непосредственным опытом эмпирического исследования» (с. 19). «Весьма вероятно, что (эти) попытки... также обречены на неудачу, но убедиться в этом лучше на собственном опыте» (с. 95). «Результаты трудно назвать обескураживающими. Волга на сей раз впадает именно в Каспийское море. Но это, если вдуматься, не так уж мало» (с. 215). «Это

еще один трюизм, но трюизм, в котором убеждаешься на собственном опыте, стоит не так уж мало» (с. 216).

Путь через самоуничтожение к самооправданию интересен не сам по себе (он предсказуем). В нем интересны детали риторической стратегии. В данном случае код самооправдания распадается на несколько субкодов: апелляция к эмпиризму историков, идея важности экспертного опыта, демонстрация солидарности (вплоть до самоидентификации) с читателем, признание ценности вечных истин и, наконец, релятивизация постмодернизма. В сочетании эти субкоды создают сложную и довольно эффективную риторическую стратегию.

Первый субкод достаточно банален, однако вплетен в оригинальное понимание автором соотношения между историей и эпистемологией, не говоря уже о неподражаемой иронии по поводу «историографических драм», разыгрывающихся «на подиуме “высокой моды” исторической науки» (с. 24). Понятно, на какую реакцию каких читателей рассчитывает автор, утверждая, что «непреходящую ценность» имеют исторические исследования, которые «вне зависимости от выводов авторов... обогащают нас конкретно-историческим знанием» (с. 47).

Это можно принять за стандартную идеологию профессионализма – хроническую болезнь советских гуманитариев, обострившуюся в постсоветское время. Однако Уваров не отмечает эпистемологию с порога – и в этом, конечно, есть некоторая девиантность. Свою книгу он сравнивает с впечатлившим его когда-то плащом, «пошитым на фабрике “Большевичка”»: «Он был двусторонний, его можно было носить как с лица, так и с изнанки». «Данное исследование должно походить на этот плащ», – продолжает автор. Две стороны книги – социальная история и «рассуждение о методе». «И трудно сказать, где изнанка, а где лицо» (с. 17).

«Непреходящую ценность» фактов признает отнюдь не обскурант, и тем выше ценность признания. Впрочем, в исключительном, как и предсказывает метод, порой можно усмотреть нормальное. Кажется, что ирония автора в равной мере направлена на эпистемологов и на практикующих историков. Но это не так: к чему ведет избыточное увлечение эпистемологией, Уваров объясняет подробно (к схоластике, разумеется – с. 17–18), а к чему ведет недостаточное внимание к ней, обходит молчанием. Понятливый читатель сообразит и сам: к созданию «непреходящих ценностей».

Второй субкод – это идея об уникальной ценности экспертного опыта: «Полагаю... многие из коллег... поддержат тезис о том, что настоящее знание возможно только на “кончиках пальцев”» (с. 100).

Цитата нуждается в комментариях. В современной эпистемологии с экспертным знанием связаны большие надежды – в частности,

того распространенного течения, которое Хилари Патнэм называет «умеренным реализмом»³. Это течение возникло в рамках эпистемологии, исходящей из лингвистической модели мышления, или парадигмы социального, для которой источником знания является социальная конвенция. Несмотря на то, что парадигма социального предполагает релятивизм, пусть родовый, именно с ее помощью отцы-основатели социальных наук на грани XIX–XX вв. пытались избежать худшей опасности – релятивизма индивидуального, с неизбежностью следовавшего, по их мнению, из натуралистической парадигмы XIX в., укоренявшей мышление в биологическом организме⁴.

Сегодня перед лицом нового кризиса идеи объективности многие ее сторонники (пусть умеренные) черпают аргументы все в том же идейном фонде. Представление, что знание основано на конвенции, но что за эту последнюю отвечает не слепая сила множества, но мудрость избранных, опыт экспертов, которые исследуют наши понятия на предмет не их истинности, но их прагматической достаточности, является естественной, хотя и не слишком искушенной, попыткой спасти идею объективности, не порывая с устоявшимися (в основе своей релятивистскими) представлениями о природе мышления. Подобные попытки предпринимались и применительно к историческому знанию. Так, Жерар Нуарьель предлагал историкам, чтобы выйти из кризиса, сплотить ряды и довериться суждениям экспертов, которые должны крайне дозированно поставлять профанам большие нарративы⁵.

В этом контексте, мне кажется, и следует понимать автобиографические отсылки в книге Уварова. Их риторическая функция – создание иллюзии, подобной иллюзии «пребывания там», о которой говорил Клиффорд Гирц применительно к риторическим стратегиям антропологов⁶. Доверие читателя к антропологу возникает постольку, поскольку последний в состоянии внушить первому впечатление, что его (антрополога) знание основано на солидном личном опыте, что он знает все из первых рук, не понаслышке. Равным образом и Уваров дает понять, что он «был там» и «лично все видел» – если не само прошлое, то его вещественные следы. И так, современному кризису исторической объективности Уваров противопоставляет прагматически ориентированную эпистемологию доверия.

(Сказанное об экспертном знании не означает, что такового не существует. Напротив, оно является важной формой знания, особенностью которой надо изучать. Но на него наивно уповать как на заклинание, способное спасти идею объективности.)

Важным аспектом укрепления доверия является третий субкод – солидарность с читателем. Адресуя свою книгу «практикующим историкам», Уваров заботливо создает собственный образ как «просто-

го, из читателей» автора – редкий случай в среде, где преобладает скорее установка на оригинальность, предполагающая воздвижение барьера между автором и читателем. Напротив, щедро делаясь с читателями фактами личной биографии, рассказами о своих надеждах и неудачах, которые так похожи на надежды и неудачи самих читателей, а также всячески подчеркивая банальность своих выводов, Уваров не позволяет возникнуть такому барьеру. Отчасти поэтому он и может позволить себе предложить читателю положиться на опыт автора как на собственный. Вот характерный пассаж: «Одно дело читать у Филиппа Ариеса тезисы о возрастании обеспокоенности своей индивидуальной загробной участью на исходе Средневековья, другое дело наблюдать практическую реализацию этой озабоченности» (с. 391). Читатель мог бы продолжить: одно дело читать у Уварова... Но автор даже не предполагает возникновения подобной мысли – и с полным основанием. «Мы», в котором автор счастливо слился с «практикующими историками», достаточно надежно противопоставлено «обитателям французского историографического Олимпа» и прочим «эпистемологам», которые составляют уваровское «они».

Следующий субкод – признание ценности вечных истин. Заключение одного из центральных разделов книги озаглавлено: «Стоит ли бояться трюизмов?» (с. 214). Подразумеваемый ответ: конечно, не стоит. Этот код также тесно связан с предыдущим – убедившись на личном опыте в справедливости вечной истины, перестаешь воспринимать ее как трюизм.

Особым (и чрезвычайно интересным) кодом тему вечных истин делают едва ли не вселенский масштаб и экзистенциальное значение, которые она приобретает в книге. Речь идет о проблеме штампов в культуре, к которой Уваров обращается в связи с анализом нотариальных актов, точнее, возможности выражения личности в стандартных формулах: «Свобода выбора здесь, как и в других явлениях культуры, зачастую была свободой выбора штампа» (с. 327). «Конечно, это один из штампов, но из тех, на которых, быть может, и стоит цивилизация» (с. 317). (Примечателен повод, по которому это сказано: речь идет о достоинстве маленького человека.) Понятливый читатель вновь соображает: возможно, цивилизация стоит не только на штампах нотариусов, но и на трюизмах историков.

Ценность штампа – в прикосновении к вечности: «Я до сих пор вспоминаю то потрясение, которое мне довелось испытать, когда я впервые столкнулся с оригиналом нотариальной минуты... Разобрать за закорючками скорописи взволнованный голос парижанки XVI в. – в этом выделось прикосновение к чему-то чрезвычайно важному» (с. 258–259). Правда, Уваров тут же иронически снимает тему прикосновения: «Вскоре стало ясно, что я столкнулся тогда с одной

из весьма распространенных нотариальных формул». Но, ирониче-ски снятая, тема едва ли звучит менее соблазнительно. Прикоснове-ние к вечному составляет смысл истории. Оригинальные теории – какая суета *sub specie aeternitatis!* Речь идет уже не об эпистемологи-ческом, но об экзистенциальном оправдании собственной деятельно-сти. Подобную идею Уваров высказывал и ранее⁷. Именно она опре-деляет поэтику книги.

Но это, в сущности, означает переосмысление проекта научной истории. Исследование приобретает ценность как факт личной био-графии исследователя. В молодые годы Уварову, вероятно, приходи-лось слышать из уст учителей фразу, которую многократно слышал автор этих строк: «Это – факт Вашей личной биографии». Подобное говорилось тогда по поводу аргументов, имеющих значение только в контексте субъективного опыта (начинающего) автора и, следова-тельно, не общезначимых. Развивая эпистемологию доверия, Уваров показывает, что не склонен отказываться от идеи науки. Рассматри-вая прикосновение к вечности как смысл истории, он выводит науч-ную историю на последний рубеж обороны, на рубеж личной иден-тичности историка.

Долго ли история сможет продержаться на этом рубеже? Ответ далеко не однозначен, поскольку будущее сегодня открыто, как ни-когда. Современное общество переживает глубокую трансформа-цию, своего рода «Sattelzeit наоборот», как говорит Дина Хапаева⁸. Может быть, в дивном новом мире аргумент от личной идентично-сти будет весить больше, чем аргумент от общественной пользы?

Вопрос о социальных перспективах личности «практикующего историка» сам Уваров склонен рассматривать скорее скептически: «В нашей стране, да и не только в ней, все меньше и меньше стано-вится практикующих историков и все больше историографов, мето-дологов и эпистемологов» (с. 18). Поза последнего защитника осаж-денной крепости сегодня кажется привлекательной многим гумани-тариям. И тем не менее Уваров набрасывает программу эмпириче-ского исследования (о ней речь впереди), очевидно, не считая дело практикующих историков совершенно проигранным.

Наконец, последний субкод – релятивизация постмодернизма. Здесь от пронзительно личной ноты автор переходит едва ли не к академической *Realpolitik*. Нет нужды бороться с постмодернизмом: он уже сдан в архив (что, безусловно, правда – но не вся, поскольку постмодернизм принадлежит к числу интеллектуальных течений, после сдачи которых в архив возврат к прежнему интеллектуально-му пейзажу невозможен). Достаточно релятивисты всех мастей пы-тались представить практикующих историков старомодными чуда-ками: их время прошло, теперь «традиционалистами» выглядят они

сами (соответствующие цитаты будут приведены ниже). Сила этой позиции – не столько в том, что она избавляет от необходимости приводить аргументы, и даже не в том, что Уваров бьет врага его же оружием, но скорее в том, что автор чутко (хотя и неточно) уловил происходящий на наших глазах интеллектуальный сдвиг⁹ и использовал его как довод в защиту реализма. Именно эта логика определяет, как мы увидим, анализ Уваровым эволюции современной историографии.

Несмотря на то что идея заката постмодернизма играет существенную роль в построениях автора, сам постмодернизм в книге не рассматривается. Но его образ, безусловно, присутствует – что и естественно, двойственный. С одной стороны, толерантный к эпистемологии автор многократно подчеркивает необходимость изучения «экранов», «языковых практик» и т.д. Значительная часть его программы была бы невозможна без постмодернистского фона. С другой стороны, имеет место ироническое «снятие» постмодернизма. Вот крайний, но характерный пример. Показав, что в 40–50-е годы XVI в. девять десятых французов, составивших дарения в пользу парижских студентов, «были жуликами» (т.е. с помощью фиктивных дарений пытались защитить даримое имущество университетскими привилегиями), Уваров задается вопросом: «Кто же мог предположить масштабы этого самого настоящего жульничества?.. Чего же стоит наша реконструкция, все наши проверки и контрольные замеры? Не лучше ли будет в духе нашего времени признать, что мы имеем дело лишь с текстом и что все наши ухищрения прорваться к породившему его контексту заранее обречены на провал?..» (с. 257). Впрочем, «прежде, чем окончательно перейти под знамена постмодернизма», Уваров делает еще один «контрольный замер», который приводит его к выводу, что «нам рано впадать в крайний пессимизм» (там же).

При чем здесь, однако, «знамена постмодернизма»? Речь идет о техническом вопросе критики источников. Подобных открытий в историографии было немало и тогда, когда о постмодернизме слыхом не слыхивали, и никаких сомнений в познаваемости прошлого они не внушали – совсем напротив. Единственное объяснение, которое я могу дать появлению «знамен постмодернизма» в цитированном пассаже Уварова, – это произвольная ассоциация постмодернизма и жульничества.

Однако «снятие» постмодернизма входит в очевидное противоречие с другими элементами риторической стратегии Уварова. Если из заката моды на релятивизм следует, что на его место должен неизбежно прийти реализм, то и этот последний как бы включается в волнообразный процесс смены мод, что, разумеется, ставит под воп-

рос его статус как высшей ценности. Лозунг «сегодня в моде быть немодным» соблазнителен, но плохо совместим с аскезой настоящего ученого. Возможно, эта последняя не так уж и привлекательна для практикующих историков?

В целом, несмотря на противоречия и неточности, риторическая стратегия Уварова мне представляется, как уже отмечалось, весьма целостной и эффективной. Она настолько целостна, что имеет тенденцию подчинять себе – и подменять собой – аналитику, в чем у нас будет возможность убедиться. Она настолько эффективна, что способствовала теплоте (насколько мне известно) приему книги в профессиональной среде. Возможно, это дает повод до известной степени экстраполировать «лирического героя» Уварова на определенную «совокупность» постсоветских историков.

* * *

Выше было сказано, что, несмотря на скептический флер, у Уварова, несомненно, есть позитивная программа. Какова же она?

«Исследование в какой-то мере замышляется как “римейк” старой/“новой” социальной истории», – так характеризует ее сам автор (с. 20). Имеется в виду «социальная история 60-х годов, или “новая социальная история”». Эта «многократно и справедливо раскритикованная» историческая школа вызывает интерес Уварова, в частности, потому, что «в ту пору историки наивно пытались совместить в своей работе “рассуждения о методе” с практическим применением этих методов». Этим она «выгодно отличается от нашего времени», когда единая историческая профессия распалась на две «субкультуры» – практикующих историков и эпистемологов (с. 18).

В коллективной памяти историков (а равно социологов, антропологов, лингвистов и прочих обществоведов) 60-е годы остались «звездным часом» (с. 29) социальных наук, точкой отсчета, не самоопределившись по отношению к которой невозможно обрести свое место на интеллектуальном поле. Однако преобладающим способом такого самоопределения сегодня является, пожалуй, отталкивание (как это показывает Дина Хапаева на примере современных французских интеллектуалов, дружно рассматривающих свою деятельность как попытку преодолеть «тяжелое наследие» структурализма¹⁰). Сказать, что слава предшественников непомерно раздута, является понятной защитной реакцией в эпоху, скупую на конструирование новых «величий». Тем симпатичнее стремление Уварова переосмыслить опыт выдающихся историков 60-х годов. Мне кажется, что подобное переосмысление неизбежно, если мы хотим преодолеть современный кризис социальных наук – ведь не в последнюю очередь

он объясняется тем, что «шестидесятники» не сумели разрешить поставленные ими проблемы. Вопрос, в чем причины их неуспеха, – ключевой для любой современной стратегии выхода из кризиса.

Однако вместо анализа интеллектуальных трудностей, с которыми столкнулась социальная история 60-х годов, мы находим в книге иронию по поводу перемен историографической моды и не лишённые морализаторства рассуждения о пагубном расколе исторического сообщества на эмпириков и эпистемологов. На примере последней темы легко проследить, как происходит подмена анализа морализаторством. Предположим, что Уваров прав и что эпистемологи действительно вытесняют эмпириков. Почему же это происходит? Автор не ставит такого вопроса, вероятно, считая ответ само собой разумеющимся: дело в «видимых выгодах, сулимых на пути эпистемологических или историографических исследований» (с. 18). Он, правда, оговаривается: «надеюсь, не только» в них, но других возможностей не рассматривает. В итоге крен в эпистемологию предстает как моральная порча.

Противопоставление теоретиков и практиков оказывается риторической фигурой, отвлекающей внимание от болезненных проблем самоанализа профессии. Потребность в эпистемологии сегодня действительно ощущается, что и естественно для эпохи кризиса, причем способность к плодотворной рефлексии является важнейшим индикатором способности затронутого кризисом сообщества найти конструктивные пути выхода из него. Подчинение историографического обзора риторике самооправдания наводит на грустные размышления – ведь речь идет о книге, выгодно отличающейся от принятых форм исторического письма вниманием к теории.

Историографическую эволюцию последних десятилетий Уваров изображает так: в 50–60-е годы во Франции господствовала «социально-структурная история», на 70–80-е пришлась эпоха «новой исторической науки», «истории в осколках», новых «вызовов» и «поворотов», 90-е же характеризуются поисками «новой парадигмы». Такая, на первый взгляд очевидная, хронология на самом деле не совсем точна – прежде всего, в оценке 70–80-х годов. Уже в названии соответствующего параграфа через запятую перечислены «новая историческая наука» и «вызовы», с которыми она столкнулась (с. 41). Иными словами, «поворот к ментальностям», центральный для возникновения «новой исторической науки» 70-х годов (т.е. глобальной истории на базе истории ментальностей), «лингвистический поворот», квалифицировавший любую глобальную историю как «метарассказ», и микроистория, приведшая к ее «измельчению», рассматриваются как взаимосвязанные характеристики одного и того же историографического периода. Расцвет истории в 70-е годы тем самым сближается с

ее стремительно начавшимся в 80-е годы распадом. Это не только усиливает парадигматическое значение любезных сердцу Уварова 60-х, но и препятствует ясному пониманию логики распада.

В самом деле, явления, отнесенные Уваровым к одному периоду, конечно, взаимосвязаны, но все же принадлежат к двум последовательным стадиям развития историографии. Несмотря на то что «измельчение истории» было логически заложено в «культурном повороте» (или «повороте к ментальностям», как его называли во французской историографии), этот последний некоторое время оптимистически претендовал на обновление глобальной истории с помощью техник антропологического анализа – и даже зарождающейся микроистории. Собственно, именно на это время (70-е годы) пришелся апогей популярности школы «Анналов», «взрывное расширение» (*éclatement*, по словам Пьера Нора) «территории историка» (еще одна знаменитая формула – Э. Леруа Ладюри). Сближая историю ментальностей с лингвистическим поворотом и микроисторией, Уваров затушевывает факт распада глобальной истории как главное проявление современного кризиса историографии.

Для подобного сближения имеются некоторые основания – ведь и поворот к ментальностям, и лингвистический поворот в равной мере связаны с подъемом в 60–70-е годы идеи культуры, а путь к «измельчению истории» вел, как уже говорилось, через осознание роли субъективного начала в ней. Однако этих оснований, на мой взгляд, недостаточно, поскольку здесь важны этапы пути: кризис, сопровождавшийся переходом от триумфального настроения эпохи *éclatement* (70-е годы) к унынию эпохи *émiettement* (с середины 80-х годов по сей день), наступил не тогда, когда историки поняли, что историческая реальность зависит от сознания субъектов истории, но тогда, когда постмодернизм проблематизировал собственное сознание историков со свойственными ему формами обобщения, а микроисследования высвободились из-под спуда отвергнутых «метарассказов».

Для Уварова распад глобальной истории отнюдь не является центральным фактором современной историографической эволюции, но занимает место в ряду других факторов, главным из которых является конфликт между «социально-структурным» и антропологическим подходами. Это позволяет смягчить противопоставление макро- и микроанализа, «затерять» кардинальный вопрос о принципах обобщения среди прочих методологических вопросов и обосновать программу книги – возврат к социально-структурной истории 60-х годов, исправленной и дополненной в свете исторической антропологии, лингвистического поворота, микроистории и т.д.

Подмена проблемы обобщения вопросом о соотношении объективного и субъективного в истории определяет и интерпретацию

Уваровым попыток создания новой парадигмы в 90-е годы. Эти попытки он считает в целом обнадеживающими, даже удавшимися, что вписывается в тему преодоления постмодернизма: «В 80-е годы в сознании историков постепенно утверждалось ощущение кризиса... Были, конечно, историки, которые не соглашались (с диагнозом кризиса. – *Н.К.*), но они выглядели скорее консерваторами... В 90-х годах ситуация, похоже, начала меняться... Тот же Франсуа Досс (который поставил диагноз распада истории в конце 80-х годов. – *Н.К.*) высказывает теперь осторожный оптимизм, считая, что годы поисков увенчались, наконец, обретением новой парадигмы исторического знания. Конечно, есть историки, которые с этим не согласны и считают, что время обобщений и глобальных теорий безраздельно прошло... Но теперь уже эти историки выглядят, скорее, традиционалистами, сохраняя приверженность старым истинам» (с. 62).

Что правда, то правда: новость о кризисе истории не назовешь свежей. Впрочем, и слухи о его преодолении несколько преувеличены. Книга Досса, на которую ссылается Уваров, появилась в 1995 г., в момент наивысшего подъема надежд, связанных с прагматическим поворотом «Анналов»¹¹. Этот поворот, намеченный (под именем «критического») в редакционных статьях журнала в конце 80-х годов, воплотился в сборнике статей «Формы опыта», вышедшем под редакцией Бернара Лепти в 1995 г.¹² Именно Лепти, тогдашний директор Центра исторических исследований Высшей школы социальных исследований, стал «мотором» прагматического поворота в историографии. Его энтузиазм в значительной степени определил оценку Доссом перспектив и достижений парадигмостроения. Но в 1996 г. жизнь Бернара Лепти трагически оборвалась, а с ним исчез и главный «административный ресурс» прагматического поворота. К тому же нельзя сказать, что в «Формах опыта» представлен вполне сложившийся – или хотя бы развернуто сформулированный – подход к истории. Максимум, о чем может идти речь, – это присутствие в большинстве материалов сборника нескольких сквозных тем. Поэтому неудивительно, что новая парадигма в историографии умерла, не родившись. То же самое, впрочем, произошло и в других дисциплинах. Едва ли не все авторы, десять лет назад, часто вопреки собственной воле, включенные Доссом в «новую парадигму», сегодня чувствуют себя маргиналами, идеи которых не нашли сколько-нибудь широкого признания¹³. Это, естественно, давно понял и сам Досс (сужу на основании личных бесед с ним).

В доказательство тезиса о возникновении новой парадигмы Уваров ссылается, наряду с книгой Досса, на работы о просопографии французского дворянства и на коллективную «Культурную историю Франции», в которой, по его мнению, осуществлен синтез «социально-структурной истории с историей ментальностей и исторической

антропологией» (с. 65). Впрочем, оговаривается Уваров, такой синтез испокон веку «стихийно осуществлял» «любой хороший историк», будь то Ж. Дюби, Р. Мандру или даже Л. Стоун. В чем отличие новой парадигмы от здравого смысла, стихийно практикуемого великими собратьями по цеху, Уваров умалчивает.

Итак, парадигма, за которую ратует Уваров, весьма отлична от той, которую пытались найти (и не нашли) французские историки и социологи в 90-е годы. Автор предпочитает иметь дело с проблемой «современного синтеза социальной истории и более молодых направлений исторических исследований», а не с гораздо более серьезной проблемой распада глобальной истории. Подобный синтез – задача, безусловно, посильная (особенно при «достаточно свободном использовании разных интерпретативных моделей», за которое ратует автор – с. 67), но в современной историографической ситуации не слишком актуальная. И вот почему.

«Социально-структурную» историю Уваров предлагает модернизировать за счет (1) «внимания к субъекту», (2) «скрупулезного анализа всяческих “экранов”, стоящих между историком и объектом его изучения» (прежде всего – языка как самого историка, так и его источников) и (3) «анализа взаимного влияния практики действий человека, обусловленной распределением ресурсов, и культурных моделей» (с. 67). Фактически это означает сочетание анализа общества в терминах унаследованных макросоциальных категорий с анализом субъективных картин мира и индивидуальных казусов.

Едва ли сегодня кто-нибудь усомнится, что в идеале следует сочетать «объективирующее» описание социальных структур «извне» с реконструкцией восприятия социального мира «изнутри». Проблема состоит в том, как создать «объективирующее» описание, основанное на микроисторических данных и не реифицирующее лингвистические категории. Пока она не решена, вопрос о сочетании объективного и субъективного не имеет особого смысла: последнее просто не с чем сочетать. Но ни один их подходов, за счет которых Уваров рассчитывает модернизировать «старую/новую» социальную историю, не решает внутренних сложностей, приведших ее к распаду (за которым вскоре последовал распад глобальной истории в целом). Историографический обзор уводит внимание читателя в сторону от вопроса о том, в чем состояли эти внутренние сложности. Это естественно: инструментов для их решения у автора все равно нет.

По сути дела, Уваров, при всей готовности использовать достижения лингвистического поворота в области критики источников, пытается вернуть историографию к положению, сложившемуся на момент, когда она столкнулась с «постмодернистским вызовом». Не решившись ни вообще отказаться от проблем и понятий макроисто-

рии (в чем я вижу достоинство книги), ни озаботиться проблемой ее внутренних логических противоречий, автор попытался не то, чтобы проигнорировать, но риторически нейтрализовать факт распада глобальной истории. В результате он обрек себя на то, чтобы, «в порядке эксперимента над собой», вволю «понаступать на грабли» в первой части книги, посвященной «социально-структурному» анализу французского общества XVI в. Но именно эта первая часть является композиционным центром работы и связывает ее воедино. Увы, после лингвистического поворота «центр не держится»¹⁴, и книга Уварова подтверждает этот печальный диагноз.

* * *

Книга состоит из трех разделов, в каждом из которых используется тот или иной метод – объективирующий, антропологический и «микроисторический, или казусный» (с. 475). Взглянуть на один и тот же объект под разными углами зрения всегда полезно, тем более что Уваров хорошо знает реалии парижской жизни XVI в. и картина получается достаточно объемной. Наиболее интересным мне представляется третий раздел, наиболее спорным – первый.

В качестве главного источника для «социально-структурной» реконструкции парижского общества в этом первом разделе Уваров использует публикацию регистров Шатле (Парижского суда). В этих регистрах его интересуют краткие записи нотариальных актов о дарениях, с 1539 г. подлежавших регистрации в королевских судах. Из 5382 опубликованных записей Уваров отобрал для анализа 1337, содержащих дарения студентам. Процент дарений студентам был столь высок, потому что последние, как уже отмечалось, пользовались привилегиями, позволявшими защищать подаренное имущество (с. 253–257). Выбор для анализа именно дарений студентам объясняется прежде всего тем, что Уваров пришел в социальную историю из истории университетской. Далее автор выделил десять социальных категорий¹⁵, по которым, как помнит читатель, «распределил дарителей», и принялся изучать особенности совершенных ими дарений. Полученные выводы он затем проверил с помощью выборочного зондажа в архивах и анализа брачных контрактов (на основании той же публикации).

Исследование привело Уварова к выводу, что выделенные им социальные категории обладали единством (с. 172) и, следовательно, существовали на самом деле: «Оказалось, что “слова” в принципе соответствовали “вещам”... Те, кто обозначен в нотариальном акте как “экюйе”, “шевалье”, “барон”, проявляют тенденцию являться именно дворянами, “землепашцы” производят впечатление крестьян, а “парижские буржуа”, судя по всему, в основном и были парижскими

буржуа...» (с. 215). «Под “дворянами” в актах понимались прежде всего дворяне, которые были несколько богаче других (дарителей. – *Н.К.*) и несколько чаще других упоминали среди объектов дарения сеньории» (с. 135). «Социальная иерархия скорее существует, чем отсутствует, и некогда банальный вывод звучит теперь скорее новостью, чем трюизмом» (с. 135). «И все же они (социальные группы. – *Н.К.*) существуют, иначе на чем основываются многочисленные прогнозы социологов, политологов и политтехнологов?» (с. 99–100).

Именно по ходу этих выводов Уваров рассказывает о ценности личным трудом добытых трюизмов. При этом оправдание трюизмов вписано в определенное понимание хронологии развития социальной истории, основанное на уверенности, что новая парадигма нашлась... и оказалась очень похожей на старую. Сами по себе, взятые вне этого риторического контекста, ни материал, ни выводы Уварова довод против «постмодернизма» не являются. Ведь только самый отчаянный постмодернист станет всерьез отрицать, что гипотеза о существовании внешнего мира, в том числе и социального, обладает высокой степенью вероятности. Вопрос не в том, существует ли общество, а в том, насколько адекватно способны мы его представить. Я не помню, чтобы хоть кто-нибудь из критиков социальной истории утверждал, будто социальных групп вовсе не существует. Будучи в здравом уме можно утверждать нечто другое: что категории нашего словаря описывают их недостаточно адекватно и, возможно, в принципе не в состоянии описать, поскольку структуры языка (и мышления в целом) могут не совпадать со структурами той «онтологической реальности», познать которую стремится Уваров (с. 101) – вслед за социальными историками 60-х годов.

Можно, например, предположить, что «реальных социальных групп» настолько много, что задача представить и описать их далеко превосходит различительные способности нашего разума. Можно, напротив, предположить, что «реальные группы» носят сугубо ситуативный характер¹⁶, т.е. что люди в разных обстоятельствах по-разному представляют себе социальный мир и соответственно группируются в нем. На этом фоне все наши классификации – не более чем тщетные попытки остановить поток жизни с помощью языка. Ведь сама идея реальности отчасти является лингвистическим эффектом: язык имеет тенденцию реифицировать собственные категории и представлять случайно возникшие зоны упорядоченности как стабильные и имеющие «сущность» феномены. Если в повседневной жизни стабилизирующая функция языка отчасти нейтрализуется зависимостью лингвистических категорий от локальных и подвижных контекстов, то в момент, когда исследователь принимает «трансцендентальную» установку и пытается с помощью лингвистических категорий создать полное

и законченное описание объекта, он отдает себя во власть неподконтрольных ему механизмов объективации. Можно, далее, предположить, что сама по себе идея социальной структуры есть не более чем проекция на мир форм нашего разума и нашего словаря и что социальная история представляет собой бесконечную серию более или менее неудачных попыток (как субъектов истории, так и историков) подчинить действительность разуму, сделать ее интеллигибельной (а попутно и выгодной для классификатора).

Конечно, можно сказать, что подобными свойствами отличается не только «наш» (т.е. исследователей), но и «их» (субъектов истории) разум. Если даже здесь имеются различия (все-таки время прошло!), то учесть таковые в нашей власти. Поскольку же социальная реальность создается людьми, то она и должна воспроизводить формы их сознания (например, иерархию). Увы, ситуация сложнее. Различия между сознанием субъектов общественной жизни и сознанием историков (или социологов) определяется не столько хронологической или культурной дистанцией, сколько разницей в установках: в повседневной жизни субъекты обычно нуждаются в частичных и открытых пересмотру представлениях об обществе, даже если, например, в момент интервью они в состоянии «войти в положение» социолога и на прямой вопрос дать прямой ответ – например, сколько классов в обществе. Для того, чтобы решить, как себя вести по отношению к другим людям, «человеку с улицы» не нужно классифицировать всех остальных людей раз и навсегда – иными словами, ему не нужно законченное описание общества.

Конечно, социолог (или историк) также имеет опыт «человека с улицы» и может представить себе его сознание (даже через века). Он тоже опирается в повседневной жизни на частичные и открытые пересмотру представления. Здесь и возникает центральный (и неразрешимый) вопрос прагматической парадигмы: как от частичных открытых описаний перейти к описанию полному и завершенному. Последнее не может быть механической суммой всех частичных описаний, поскольку они «непереводимы» в него в силу принципиальной несовместимости точек зрения актера и наблюдателя. Даже если актер и наблюдатель – одно и то же лицо, лицо это ведет двойную жизнь. Мир актера и мир наблюдателя устроены по-разному.

На этом фоне наблюдение, что дворяне чаще других указывают среди объектов дарений сеньории или ренты, ровным счетом ничего не говорит о «реальности» дворянства как социальной группы – даже в рамках объективирующего подхода, основанного на предположении, что у индивидов есть устойчивые социальные признаки, на основании которых они объединяются в реально существующие социальные группы. Если историк знает, что, например, 50% дворян имели

сеньории, вправе ли он на этом основании заключить, что дворянство обладало определенным единством? 50% – это много или мало? А 70%? Это больше, чем 50, но достаточно ли, чтобы приписать группе единство? Даже если среди представителей других групп, например чиновников, только 30% имели сеньории? Ведь мы не можем исключить, что часть дворянства плюс часть чиновничества плюс совсем небольшая часть, например, буржуа вместе составляют группу, которая по всем мыслимым показателям, в том числе и по владению сеньориями, обладает гораздо большей гомогенностью, чем дворянство, хотя ее имя не значится ни в одном известном нам тексте. Если уж мы взялись за статистическую обработку данных, мы должны показать, что предложенная нами классификация оптимальна с точки зрения распределения признаков. Еще лучше, если наша классификация будет получена не в результате «распределения» индивидов по предсуществующим (т.е. зафиксированным в языке) категориям, но в результате эмпирической группировки индивидов на основании совокупности эмпирических каждому из них признаков.

Именно такую задачу ставила перед собой социальная история 60-х годов. В другой работе я показал, что эта задача оказалась невыполнимой¹⁷. Эмпирическая классификация могла (точнее, едва ли могла не) произвести категории, для которых не существовало исторических имен, и историки в замешательстве остановились перед перспективой непреодолимого разрыва между реальностью «объективирующего описания» и интеллигентным социальным словарем, т.е. теми понятиями, в которых люди прошлого мыслили себя самих и свое общество. «Подлинная социальная иерархия», которую искали участники спора о классах и сословиях, мыслилась ими как синтетическая иерархия, т.е. как «результатирующее» измерение пересекающихся лингвистических категорий. Именно для синтетических социальных групп историки не могли найти подходящих имен, поскольку все категории социального словаря имели более или менее выраженное аналитическое измерение. Неспособность совладать с логическими трудностями, связанными с подобной реконструкцией, привела к тому, что историки предпочли модифицировать условия задачи, чтобы сделать ее решаемой. Это вызвало сначала отказ от идеи синтетической социальной иерархии в пользу гипотезы о нескольких пересекающихся, но не проецируемых на результирующее измерение иерархий, а затем (в силу очевидной половинчатости этой позиции) и переход от изучения объективных социальных структур к исследованию их восприятия современниками (благо здесь можно было полностью положиться на словарь социальных категорий) и индивидуальных стратегий приспособления к ним.

Неуспех в реконструкции синтетической социальной иерархии с внутренней стороны запустил механизм распада социальной истории 60-х годов (т.е. глобальной истории на базе социальной истории). К внутренним причинам распада вскоре добавились внешние – прежде всего, подъем идеи культуры и вызванный им «поворот к ментальностям». Связь между этим последним и неуспехом объективирующего описания очевидна: история без исторических имен исключала не только нарратив, но и субъекта. Напротив, поворот к ментальностям исходил из концепции личности как субъекта культуры (я оставляю здесь в стороне вопрос о различиях истории ментальностей и микроистории в интерпретации идеи субъекта).

Все эти рассуждения Уварову прекрасно известны. Видимо, поэтому в рассматриваемой работе он решил избежать проблем, связанных с реконструкцией синтетической социальной иерархии. Однако он предпочел двинуться не вперед (например, к изучению социального словаря и представлений современников о своем обществе), но назад, к предсуществующим лингвистическим категориям – ведь впереди его тоже поджидали неприятные вопросы, проблематизирующие язык субъективных описаний (о некоторых из них было сказано выше). Призыв Уварова не бояться трюизмов на самом деле означает стремление укрыться в заманчивую ясность языковой картины мира обыденного сознания, с помощью риторики самоуничижения и возврата к простым, но своим трудом добытым истинам уйти от тех сложных вопросов, размышления над которыми составляют, на мой взгляд, главное удовольствие ремесла историка.

Итак, попытка Уварова построить рассказ о французском обществе XVI в. вокруг анализа формальных категорий, к тому же обсчитанных на основании случайного источника, представляется мне не самой убедительной. Тем не менее по ходу этого рассказа Уваров демонстрирует весьма основательное знакомство с этим обществом, в особенности с «крапивным семенем» и купеческими кругами, т.е. группами, исследованными гораздо хуже, чем, скажем, дворянство или высшее чиновничество. Представляют интерес источниковедческие рассуждения Уварова, в частности анализ взаимодействия нотариуса с клиентами при составлении актов (с. 259–280). Порой создается впечатление, что работа Уварова вообще посвящена прежде всего нотариату (неслучайно тема нотариата вынесена в подзаголовок книги). Именно с неисчерпаемостью нотариальных источников, их способностью служить не только массовым материалом, но и основой для микроисторических изысканий, Уваров связывает надежды на будущее социальной истории (с. 475–476). Но при всех сильных сторонах работы приходится констатировать, что избранный автором в первом разделе жанр стати-

стического анализа оказался не слишком удачной формой представления его экспертного знания.

Выше я сказал: «Если уж мы взялись за статистическую обработку...» А вот если бы не взялись? Мы вернемся к обсуждению такой возможности после того, как рассмотрим «казусный» раздел книги. Но прежде остановимся вкратце на втором разделе, где на основе антропологического подхода восстанавливаются некоторые элементы картины мира парижан XVI в. – их представления о знании и старости. Интересны размышления Уварова о сосуществовании в Средние века и в XVI в. трех концепций знания – сакральной, прагматической и статусной – и об их соотношении в разные периоды и в сознании представителей разных социальных групп (с. 291–298). Важен вывод о том, что привычные «представления о “жестокости” XVI в. по отношению к старикам основаны лишь на литературной традиции, на карикатуре» и не подтверждаются анализом конкретных случаев по нотариальным источникам (с. 334). Однако легко заметить, что попытка «антропологически» понять мир дарителей слабо соотнесена с общей проблематикой книги, если под таковой понимать реконструкцию социальной структуры (впрочем, в упомянутом подзаголовке – «Опыт реконструкции по нотариальным актам» – не сказано, о реконструкции чего идет речь). Ведь не очень логично, что, когда вслед за объективизирующим описанием социальной структуры обнаруживается необходимость «интериоризации исторического объяснения» (с. 257), предметом изучения оказываются представления дарителей не о социальной структуре, но об образовании и старости.

К сожалению, анализа представлений парижан XVI в. об обществе, используемой ими социальной терминологии и выраженных в ней способах думать в книге почти нет. В Заключении Уваровым бегло высказывается интересное замечание о том, что изученные им социальные группы походили «на звездные скопления» и что их трудно определить в терминах необходимых и достаточных условий: «Время... строгих определений еще не настало во Франции XVI в. Потребность в них возникает в следующем столетии, причем во многом вследствие того кризиса, который пережило общество во время Религиозных войн» (с. 473). Эта замечание могло бы послужить источником гипотез для анализа социальной терминологии. Возможно, такой анализ входит в планы автора, но в книге его явно не хватает.

Социальная история когнитивных форм представляет собой интересный, но недостаточно востребованный прием, способный пролить новый свет, в частности, и на историю социальной стратификации. Я уже не говорю о том, что мы очень мало знаем о свойственной мышлению людей XVI в. логике. В свое время Люсьен Февр посвятил этому несколько вдохновенных страниц, но сделал основ-

ной упор на то, как тогда еще не могли думать, а не на то, как думали¹⁸. С 1942 г., когда увидела свет его «Религия Рабле», дела не далеко ушли вперед. Отмечу попутно, что и в XVII в. попытки применить законы аристотелевской логики к социальному миру оказались не очень плодотворны. На мой взгляд, такие попытки в принципе не могут увенчаться успехом: людям свойственно мыслить одновременно и в терминах необходимых и достаточных условий, и в терминах логики прототипов («звездных скоплений», по Уварову). Однако конкретные формы, в которых в разные эпохи реализуется подобный компромисс, заслуживают самого пристального внимания. Особенно интересно проследить изменения, происшедшие в этом отношении между XVI и XVIII веками, т.е. в период рождения нашего современного способа думать. Со своей стороны, я попытался высказать на этот счет ряд гипотез, но, безусловно, здесь необходимы дальнейшие исследования¹⁹.

Если второй раздел книги Уварова уводит читателя от проблемы социальной структуры, то третий возвращает к ней. Задача, которую ставит перед собой автор, – использовать казусы как основу «для создания специфических описаний общества в целом» (с. 338). Правда, о том, в чем специфика таких описаний, автор умалчивает, однако его текст дает материал для ряда предположений на этот счет.

Эту часть книги Уварова труднее всего резюмировать, поскольку она представляет собой девять небольших очерков, посвященных девяти различным персонажам. В каждом из очерков проанализирована серия нотариальных документов, показывающих, как данный персонаж распоряжался имуществом и, шире, прокладывал себе путь в социальном мире. Среди героев очерков – несколько вполне известных людей, таких как, например, крупнейший юрист Шарль Дюмулен или знаменитый Рауль Спифам, вероятно, воображавший себя Генрихом II и писавший от имени короля законы, являющиеся интересным памятником политической мысли XVI в. Другие персонажи в свое время пользовались не меньшей, пусть и не всегда доброй славой, как, например, гроза еретиков (и собственных недругов) декан теологического факультета Сорбонны Николь Леклерк. Были среди героев очерков и ничем не примечательные люди. Но важно, что все девять персонажей оказались так или иначе связаны между собой. Все они принадлежали к одной и той же среде, пусть трудно определяемой в социо-профессиональных терминах. Выпускники университета, они либо стали практикующими юристами и чиновниками, либо остались в его стенах в качестве профессоров богословия или права. Их можно было бы назвать людьми знания, но и это не точно, поскольку они представляют далеко не все характерные для

подобной категории подтипы. У них была масса общих знакомых, а иногда и родственников, также нередко принадлежавших к более или менее родственной среде. Их нередко волновали (и сказывались на их поведении) одни и те же события, прежде всего, конечно, события религиозно-политической борьбы. Больше того, в ряде случаев принимая те или иные решения и составляя свои акты, они вынуждены были считаться друг с другом (так, мало кто в этой среде мог позволить себе игнорировать задиристого и недоброжелательного Николя Леклерка). По мере чтения этих очерков создается ощущение перехода с индивидуального на пусть не макросоциальный, но все-таки надындивидуальный уровень. Это еще не обобщение (хотя бы потому, что масса деталей не организована в логической последовательности, но приводится по ходу рассказа), но, безусловно, приближение к обобщению.

Можно ли назвать это плотным или насыщенным описанием? Возможно, но не думаю, что дело в степени подробности. Скорее, дело в том, что несколько человек близкого социального положения создают минимальный образ множества. О каждом из них мы знаем далеко не все, что хотели бы, но из фрагментарного знания, организованного вокруг индивидов, возникает знание среды. Возможно, существует некоторый порог, за которым казус постепенно теряет индивидуальное значение и превращается в ступень на пути к обобщению. Здесь можно усмотреть своеобразное проявление феномена коллигентности (*colligation*), с которым иногда связывают своеобразие исторической мысли²⁰. Я бы назвал группу изученных Уваровым индивидов коллигентной категорией. Коллигентная категория возникает не на основании общего утверждения (закона, принципа необходимых и достаточных условий), а в силу рядоположения явочным порядком определенного минимума индивидуальных явлений. Предположительно, явления нельзя рядопологать по произволу, для этого должны иметься основания. Одним из них может быть, например, знаменитое «семейное сходство», но возможны и другие механизмы. Упомянутый порог, вероятно, имеет преимущественно количественную природу, но одним из его аспектов является некоторая «концентрация примеров» (или, если угодно, казусов). Подобную концентрацию можно назвать и плотностью – но уже не в гирцевском смысле. Так, количество приведенных Уваровым примеров достаточно для того, чтобы у нас возникло ощущение среды парижских «людей знания», но оно показалось бы недостаточным, если бы речь шла об обществе в целом. Следовательно, одним из условий формирования коллигентной категории выступает предварительное, пусть грубое, «картографирование» более широкой области, позволяющее понять, достаточно ли определенного количества при-

меров для суждения о некоторой части этой области. Возможно, концентрация казусов выступает параллельным «семейному сходству» принципом формирования коллигентных категорий. Характеристика подобных категорий в нарицательных именах и общих утверждениях едва ли имеет смысл. Неплодотворными представляются и попытки формализовать подобное знание.

Однако подобное знание, безусловно, является важной формой человеческого знания. По-видимому, именно так организовано наше обыденное знание, в том числе и социального мира. В форме таких же фрагментарных нарративов, какими предстают парижские «люди знания» в очерках Уварова, мы воспринимаем собственных коллег по университету, равно как и бывших соучеников, подвигающихся за пределами *alma mater*, причем мы знаем их достаточное количество, чтобы судить о разных малых «средах» внутри и на границах этой большой среды. Соблазнительно предположить, что именно в подобной «упаковке» естественным путем формируется и существует экспертное знание. Оно может включать и количественный материал, но его внутренняя логика не совпадает с логикой статистического исследования.

В первой части книги Уваров также продемонстрировал солидное экспертное знание, но там оно было «упаковано» в форме статистического анализа. Профессиональная конвенция – стремление написать научное исследование на основе гомогенного источника и открытых верификации процедур – побудила Уварова (не первого и, боюсь, не последнего) выбрать для представления своего знания неадекватную его природе форму.

Здесь возникает вопрос: а возможно ли при современном уровне знаний (т.е. при ожидаемой сегодня степени детальности) описание макроисторических объектов – например, общества – на основе коллигентных категорий? Мог бы, например, Уваров так же, как он описал мир «людей знания», описать все другие группы парижан? Несомненно, ему не пришлось бы при этом классифицировать своих героев «раз и навсегда» – можно было бы просто не группировать очерки об индивидах в главы о социальных категориях. К тому же спектр значений основных социальных терминов (так сказать, «язык» социальных категорий) можно было бы предварительно изучить, чтобы потом показать, как они используются в «речи» героев. Но сколько казусов потребовалось бы описать, чтобы создать достаточно полное описание общества? Предположительно от пятидесяти до ста (если экстраполировать «плотность», достигнутую при описании «людей знания», на другие группы), и это только применительно к Парижу. Если же мы зададимся целью описать не парижское, а французское общество в целом, с учетом хотя бы основных локаль-

ных вариантов его развития, количество казусов далеко перевалит за сотню. А если мы попытаемся ввести динамический момент? Очевидно, что подобное описание очень быстро станет нечитабельным – и, что еще хуже, не соответствующим конвенции исторического дискурса. Да и смогли бы мы жить в мире имен собственных? Ведь нарицательные имена для того и существуют, чтобы разум мог преодолеть силу сопротивления множества.

Видимо, перспектива описания общества как системы коллигентных категорий принадлежит к числу столь же абстрактных возможностей, как и исчерпывающая эмпирическая классификация индивидов. Но, пусть в ограниченных пределах, описание казусов дает представление об обществах прошлого.

Обратим внимание еще на один аспект. Выше было сказано, что впечатление знания среды при знакомстве с казусами возникает отчасти потому, что некоторые из персонажей Уварова взаимодействуют друг с другом. Возможно, взаимодействие элементов – важное условие существования коллигентной категории. Можно ли такое взаимодействие квалифицировать как интригу? Если да, то означает ли это, что пределом подобного описания выступает исторический роман, который обладает не только гораздо более экономными, чем коллигентная категория, механизмами обобщения (художественный тип), но и в состоянии решать задачи экзистенциального прикосновения к прошлому, столь важные для Уварова?

* * *

Уварову близко представление, согласно которому, в отличие от интеллектуальной моды, подлинная наука кумулятивна и в этом – залог ее способности преодолеть все и всяческие кризисы. Что, однако, следует понимать под кумулятивностью науки?²¹ Мне кажется, что кумулятивность в истории не сводится ни к установлению фактов, ни к фальсификации теорий. У истории есть своя поэтика, и в этой области также имеют место кумулятивные эффекты. В частности, история кумулятивна прежде всего как череда экзистенциальных выборов, совершаемых историками, и интеллектуальных форм.

В других работах я постарался проследить смену антропологических идеалов, которые, как мне кажется, в значительной степени определяли поэтику советской историографии. Эта галерея образов ведет от героя-борца, члена сражающегося коллектива, через аполитичного эксперта к субъекту культуры²². В постсоветские годы она пополнилась новым персонажем, который почти карикатурно выступает в рассматриваемой книге. Идеологии, проявляющиеся в антропологических идеалах, так же кумулятивны, как исторические фак-

ты, ибо каждый новый идеал учитывает предыдущие, реагирует на них, цитирует и перерабатывает их. Лирический герой Уварова – это человек, оставшийся наедине со своей профессией в мире, который обманул его. Он явственно полемичен по отношению ко всем предшествующим антропологическим идеалам: замкнутый в собственном горизонте, он минимально нормативен. Индивидуальные судьбы, частная жизнь – вот вехи, отметившие линию этого горизонта.

Впрочем, потерянности – состояние опасное, а минимальная нормативность может скрывать широкий спектр подавленных ценностных ориентаций. С момента выхода книги Уварова прошло уже четыре года. Эта рецензия была сдана в печать, когда появилась его статья «Портрет медиевиста на форе корпорации», посвященная отношениям А.Я. Гуревича с «сообществом» советских медиевистов²³. Пафос статьи состоит в реабилитации советского исторического эстетблишмента, что достигается, естественно, чисто риторическими приемами. Замечательные по своей бесцветности «официальные» историки изображаются жрецами науки. Подмена историографического анализа риторикой превратилась, кажется, в фирменный стиль Уварова. Это своего рода «риторика неразличения», позволяющая уравнивать между собой предшествующие антропологические идеалы. В книге, как мы видели, эволюция научных подходов предстает как волнообразная смена мод, и автор, не умея выбрать между ними, пытается их механически соединить. В статье своя правда обнаруживается у гонимых, своя – у гонителей, и, готовый всех понять, Уваров сокрушается, что гонимые недостаточно возлюбили гонителей. Похоже, потерявшийся, было, лирический герой постсоветской историографии в последние годы стал обретать почву под ногами.

¹ Уваров П.Ю. Франция XVI века: Опыт реконструкции по нотариальным актам. М., 2004. С. 124 (далее ссылки на это издание даются в скобках в тексте статьи).

² Другие примеры см.: с. 21, 87–89, 95, 97, 252, 391.

³ Putnam H. Reason, Truth and History. Cambridge; L., 1981.

⁴ Коносов Н.Е. Как думают историки. М., 2001; *Он же*. Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. М., 2005.

⁵ Noiriel G. Sur la «crise» de l'histoire. P., 1996.

⁶ Geertz C. Works and Lives. The Anthropologist as Author. Cambridge; Oxford, 1988.

⁷ Уваров П.Ю. Апокатастасис: или основной инстинкт историка // Историк в поиске: Микро- и макроподходы к изучению прошлого. М., 1999. С. 184–206.

⁸ Ханаева Д.Р. Герцоги республики в эпоху переводов. М., 2005.

⁹ Этот сдвиг подается Уваровым как действительно самоновейший: постмодернизм еще в моде («в духе нашего времени» – с. 256), но в моде уходящей, – а что может быть смешнее, чем отставший от моды модник?

¹⁰ Ханаева Д.Р. Указ. соч.

- ¹¹ *Dosse F.* L'Empire du sens. L'Humanisation des sciences humaines. P., 1995.
- ¹² Histoire et sciences sociales: un tournant critique? // *Annales: ESC.* 1988. Vol. 43, N 2. P. 291–294; Tentons l'expérience // *Ibid.* P., 1989. Vol. 44, N 6. P. 1317–1323; Les formes de l'expérience. Une autre histoire sociale / Sous la dir. de B. Lepetit. P., 1995.
- ¹³ *Ханаева Д.Р.* Указ. соч.
- ¹⁴ Эта формула – название главы о последствиях лингвистического поворота в известной книге П. Новика (*Novick P.* That Noble Dream. The «Objectivity Question» and the American Historical Profession. Cambridge; N.Y., 1988).
- ¹⁵ Вот эти категории: дворяне и сеньоры, священники, «люди знания» (чиновники и судейские), буржуа, торговцы, ремесленники, крестьяне, низшие слои и люди с неизвестным статусом.
- ¹⁶ Такое предположение Уварову известно, только он почему-то связывает его с именами французских социологов Л. Болтански и Л. Тевено. На самом деле эта идея была освоена социологией достаточно давно. Особенность же подхода Болтански и Тевено состоит как раз в том, что они пытаются пойти дальше этой констатации и построить модель обобщения на основе «ситуативных» суждений субъектов (*Boltanski L., Thévenot L.* De la justification. P., 1992).
- ¹⁷ *Коносов Н.Е.* Как думают историки.
- ¹⁸ *Febvre L.* Le problème de l'incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais. P., 1962. P. 327–341.
- ¹⁹ *Коносов Н.Е.* Как думают историки (главы «Общество как имя множества» и «Рождение общества из логики пространства»); *Он же.* Хватит убивать кошек! (глава «Логика демократии»).
- ²⁰ *Walsh W.H.* The Intelligibility of History // *Philosophy.* 1942. Vol. 17. P. 128–143; *Idem.* Introduction to the Philosophy of History. L., 1951.
- ²¹ Высказывание Уварова на этот счет несколько двусмысленно: «Безусловно положительным является и кумулятивный характер исторической дисциплины: лучшие образцы, созданные той или иной историографической эпохой, остаются в копилке исторического знания, их судьба не окончена, они продолжают волновать читателя... При всей несхожести (подобных работ) у них есть некий общий знаменатель: они написаны эрудированными авторами, обладающими широким историографическим кругозором, но обязательно погруженными в свои источники» (с. 70). Можно прочесть это в том смысле, что кумулятивность науки проявляется в накоплении позитивного знания, что «непреодолимой ценностью» обладают лишь факты и что без «погружения в источники» даже Фуко не стал бы Фуко (с. 52). Однако выражения «их судьба не окончена» и «они продолжают волновать читателя» заставляют думать о том, что, возможно, Уваров понимает феномен кумулятивности более сложно. Ведь не факты же, в самом деле, волнуют читателя исторических произведений...
- ²² *Коносов Н.Е.* Хватит убивать кошек!
- ²³ *Уваров П.Ю.* Портрет медиевиста на фоне корпорации // Новое литературное обозрение. 2006. № 6.